**Варлам ШАЛАМОВ, *Колымские рассказы***

**Выходной день**

Две белки небесного цвета, черномордые, чернохвостые, увлеченно вглядывались в то, что творилось за серебряными лиственницами. Я подошел к дереву, на ветвях которого они сидели, почти вплотную, и только тогда белки заметили меня. Беличьи когти зашуршали по коре дерева, синие тела зверьков метнулись вверх и где-то высоко-высоко затихли. Крошки коры перестали сыпаться на снег. Я увидел то, что разглядывали белки.

На лесной поляне молился человек. Матерчатая шапка-ушанка комочком лежала у его ног, иней успел уже выбелить стриженую голову. На лице его было выражение удивительное – то самое, что бывает на лицах людей, вспоминающих детство или что-либо равноценно дорогое. Человек крестился размашисто и быстро: тремя сложенными пальцами правой руки он будто тянул вниз свою собственную голову. Я не сразу узнал его – так много нового было в чертах его лица. Это был заключенный Замятин, священник из одного барака со мной.

Все еще не видя меня, он выговаривал негромко и торжественно немеющими от холода губами привычные, запомненные мной с детства слова. Это были славянские формулы литургийной службы – Замятин служил обедню в серебряном лесу.

Он медленно перекрестился, выпрямился и увидел меня. Торжественность и умиленность исчезли с его лица, и привычные складки на переносице сблизили его брови. Замятин не любил насмешек. Он поднял шапку, встряхнул и надел ее.

– Вы служили литургию, – начал я.

– Нет, нет, – сказал Замятин, улыбаясь моей невежественности. – Как я могу служить обедню? У меня ведь нет ни даров, ни епитрахили. Это казенное полотенце.

И он поправил грязную вафельную тряпку, висевшую у него на шее и в самом деле напоминавшую епитрахиль. Мороз покрыл полотенце снежным хрусталем, хрусталь радужно сверкал на солнце, как расшитая церковная ткань.

– Кроме того, мне стыдно – я не знаю, где восток. Солнце сейчас встает на два часа и заходит за ту же гору, из-за которой выходило. Где же восток?

– Разве это так важно – восток?

– Нет, конечно. Не уходите. Говорю же вам, что я не служу и не могу служить. Я просто повторяю, вспоминаю воскресную службу. И я не знаю, воскресенье ли сегодня?

– Четверг, – сказал я. – Надзиратель утром говорил.

– Вот видите, четверг. Нет, нет, я не служу. Мне просто легче так. И меньше есть хочется, – улыбнулся Замятин.

Я знаю, что у каждого человека здесь было свое *самое последнее*, самое важное – то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали. Если у Замятина этим последним была литургия Иоанна Златоуста, то моим спасительным последним были стихи – чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились там, где все остальное было давно забыто, выброшено, изгнано из памяти. Единственное, что еще не было подавлено усталостью, морозом, голодом и бесконечными унижениями.

Солнце зашло. Стремительная мгла зимнего раннего вечера уже заполнила пространство между деревьями. Я побрел в барак, где мы жили, – низенькую продолговатую избушку с маленькими окнами, похожую на крошечную конюшню. Ухватясь обеими руками за тяжелую, обледенелую дверь, я услышал шорох в соседней избушке. Там была «инструменталка» – кладовая, где хранился инструмент: пилы, лопаты, топоры, ломы, кайла горнорабочих.

По выходным дням инструменталка была на замке, но сейчас замка не было. Я шагнул через порог инструменталки, и тяжелая дверь чуть не прихлопнула меня. Щелей в кладовой было столько, что глаза быстро привыкли к полумраку.

Два блатаря щекотали большого щенка-овчарку месяцев четырех. Щенок лежал на спине, повизгивал и махал всеми четырьмя лапами. Блатарь постарше придерживал щенка за ошейник. Мой приход не смутил блатарей – мы были из одной бригады.

– Эй, ты, на улице кто есть?

– Никого нету, – ответил я.

– Ну, давай, – сказал блатарь постарше.

– Подожди, дай я поиграюсь еще маленько, – отвечал молодой. – Ишь как бьется. – Он ощупал теплый щенячий бок близ сердца и пощекотал щенка.

Щенок доверчиво взвизгнул и лизнул человечью руку.

– А, ты лизаться... Так не будешь лизаться. Сеня...

Семен, левой рукой удерживая щенка за ошейник, правой вытащил из-за спины топор и быстрым коротким взмахом опустил его на голову собаки. Щенок рванулся, кровь брызнула на ледяной пол инструменталки.

– Держи его крепче! – закричал Семен, поднимая топор вторично.

– Чего его держать, не петух, – сказал молодой.

– Шкуру-то сними, пока теплая, – учил Семен. – И зарой ее в снег.

Вечером запах мясного супа не давал никому спать в бараке, пока все не было съедено блатарями. Но блатарей у нас было слишком мало в бараке, чтоб съесть целого щенка. В котелке еще оставалось мясо.

Семен пальцем поманил меня.

– Забери.

– Не хочу, – сказал я.

– Ну, тогда... – Семен обвел нары глазами. – Тогда попу отдадим. Э, батя, вот прими от нас баранинки. Только котелок вымой...

Замятин явился из темноты на желтый свет коптилки-бензинки, взял котелок и исчез. Через пять минут он вернулся с вымытым котелком.

– Уже? – спросил Семен с интересом. – Быстро ты глотаешь... Как чайка. Это, батя, не баранинка, а псина. Собачка тут к тебе ходила – Норд называется.

Замятин молча глядел на Семена. Потом повернулся и вышел. Вслед за ним вышел и я. Замятин стоял за дверьми на снегу. Его рвало. Лицо его в лунном свете казалось свинцовым. Липкая клейкая слюна свисала с его синих губ. Замятин вытерся рукавом и сердито посмотрел на меня.

– Вот мерзавцы, – сказал я.

– Да, конечно, – сказал Замятин. – Но мясо было вкусное. Не хуже баранины.

# Александр СОЛЖЕНИЦЫН, *Архипелаг ГУЛаг*

**Белый котенок (Рассказ Георгия Тэнно)**

….Случай исключительный, случай редкий, именно потому, что их нигде не хватятся. Но что мы хотим? Нужны нам их жизни? Нет, я не убивал людей и не хочу. Следователя или опера, когда они истязают меня - да, но не может подняться рука на простых работяг. Взять их деньги? Только очень немного. Ну, как немного? На два билета до Москвы. И на питание. Да еще кое-что из барахла. Это их не разорит. А если не взять их документов и лодки не взять -- и договориться, чтоб не заявляли? Трудно поверить. Да и как же нам без документов?

А если возьмём у них документы - им ничего не останется, как заявить. А чтоб они не заявили - надо их тут связать. Так связать, чтобы у нас было суток двое-трое в запасе. Но тогда попросту значит?..

Вернулся Коля, дал знак, что наверху порядок. Он ждёт от меня "махмадера!" Что делать?

Рабский каторжный Экибастуз встает перед глазами. И туда -- возвращаться?.. Неужели же не имеем права?..

И вдруг - вдруг что-то очень лёгкое коснулось моих ног. Я посмотрел: что-то маленькое, белое. Наклонился, вижу: это белый котёнок. Он выпрыгнул из лодки, хвостик у него задран стебельком, он мурлычет и трется о мои ноги.

Он не знает моих мыслей.

И от этого котячьего прикосновения я почувствовал, что воля моя надложилась. Натянутая двадцать суток от самого подлаза под проволоку - как будто лопнула. Я почувствовал, что бы Коля мне сейчас ни сказал, я не могу не только жизнь у них отнять, но даже их трудовых кровных денег. (…)

Вот так устроено: о н и могут отнять свободу у каждого, и у них нет колебаний совести. Если же нашу природную свободу мы хотим забрать назад - за это требуют от нас нашу жизнь и жизни всех, кого мы встретим по пути.

*Они* всё могут, а мы -- нет. И вот почему *они* сильнее нас. (…)

С этой ночи -- с захода ли погреться или с белого котёнка -- сломился весь наш побег. Что-то мы потеряли -- уверенность? хваткость? способность соображать? дружность решений? Тут, перед самым Омском, мы стали делать ошибки и клонить врезь. А таким беглецам уже не бежать далеко.

\*\*\*\*\*

У меня был, наверно, самый легкий вид ареста, какой только можно себе представить. (…) Комбриг вызвал меня на КП, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, - и вдруг из напряженной неподвижной в углу офицерской свиты выбежало двое контр-разведчиков, в несколько прыжков пересекло комнату и четырьмя руками одновременно хватаясь за звездочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали:

- Вы - арестованы!!

И обожженный и проколотый от головы к пяткам, я не нашелся ничего умней, как:

-- Я? За что?!..

Едва смершевцы кончили меня потрошить, вместе с сумкой отобрали мои политические письменные размышления, и, угнетаемые дрожанием стёкол от немецких разрывов, подталкивали меня скорей к выходу, - раздалось вдруг твердое обращение ко мне - да! через этот глухой обруб между остававшимися и мною, обруб от тяжело упавшего слова "арестован", через эту чумную черту, через которую уже ни звука не смело просочиться, - перешли немыслимые, сказочные слова комбрига!

-- Солженицын. Вернитесь.

И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу назад. Я его мало знал, он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось - стыдом ли за свое подневольное участие в грязном деле? порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения? (…)

- У вас... - веско спросил он, - есть друг на Первом Украинском фронте?

- Нельзя!.. Вы не имеете права! - закричали на полковника капитан и майор контр-разведки. Испуганно сжалась свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость комбрига (а политотдельцы - и готовясь дать на комбрига *материал*). Но с меня уже было довольно: я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом, и понял, по каким линиям ждать мне опасности.

И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин! Но нет! Продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, он поднялся из-за стола (он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни!), через чумную черту протянул мне руку (вольному, он никогда её мне не протягивал!) и, с отеплённостью всегда сурового лица сказал бесстрашно, раздельно:

-- Желаю вам -- счастья -- капитан!

Я не только не был уже капитаном, но я был разоблаченный враг народа (ибо у нас всякий арестованный уже с момента ареста и полностью разоблачён). Так он желал счастья - врагу?..

\*\*\*

И вот – вас *ведут*. При дневном аресте обязательно есть этот короткий неповторимый момент, когда вас - неявно, по трусливому уговору, или совершенно явно, с обнаженными пистолетами - *ведут* сквозь толпу между сотнями таких же невиновных и обреченных. И рот ваш не заткнут. И вам можно и непременно надо было бы КРИЧАТЬ! Кричать, что вы арестованы! что переодетые злодеи ловят людей! что хватают по ложным доносам! что идет глухая расправа над миллионами! И слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть сограждане наши ощетинились бы? может аресты не стали бы так легки!? -----

Сам я много раз имел возможность кричать.

На одиннадцатый день после моего ареста три смершевца-дармоеда, обремененные четырьмя чемоданами трофеев больше, чем мною (на меня за долгую дорогу они уже положились), привезли меня на Белорусский вокзал Москвы.

Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были (а я её путал с министерством иностранных дел).

\*\*\*

 А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро Белорусского-радиального, он залит электричеством, и снизу вверх навстречу нам двумя параллельными эскалаторами поднимаются густо-уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня! они бесконечной лентой оттуда, из глубины незнания - тянутся, тянутся, под сияющий купол ко мне хоть за словечком истины - так что ж я молчу??!..

А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой.

\*\*\*

А я - я молчу еще по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне всё равно мало -- м а л о! Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек - а как же с двумястами миллионами?.. Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам...

А пока, не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю.

И еще я в Охотном ряду смолчу.

Не крикну около "Метрополя".

Не взмахну руками на Голгофской Лубянской площади...